
РОССИЯ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕЗЫ ИСТОРИИ

В. В. ТРЕПАВЛОВ

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ XVI–XIX ВЕКОВ

В истории России на протяжении нескольких столетий заметны некоторые характерные особенности в политике по отношению к неславянским подданным. Одной из главных особенностей был этатизм – подчиненность национальной политики интересам государства. Другим важным фактором являлось сотрудничество центральной власти с этническими элитами.

Присоединение народов и территорий к Российскому государству было довольно сложным историческим явлением. Каждый регион при своем пребывании в составе России проходил через несколько этапов: собственно *присоединение* (иногда в виде завоевания), т. е. установление российского подданства; постепенная *инкорпорация* в структуру государства; наконец, *ассимиляция*, которая со временем все более активизировалась и порой трактовалась как конечная цель и результат инкорпорации. Этим процессам соответствовали некоторые объективные тенденции. Во-первых, медленная, но неуклонная *унификация* юридического статуса территорий, установление единого стандарта подданства и управления; во-вторых, *русификация*, которая отнюдь не должна трактоваться как проявление зловещего умысла удушить этническую самобытность народов. Этот процесс вызывался прежде всего объективным обстоятельством – численным и культурным (господствующая религия, язык общения) доминированием русских в России. Обе тенденции то ослабевали, то усиливались, но в разных фор-

мах постоянно присутствовали в российской истории XVI–XIX веков. Сознательно же они были возведены в ранг государственной политики только в конце XIX столетия.

В истории России на протяжении нескольких столетий заметны некоторые характерные особенности, выразившиеся сочетанием, с одной стороны, правительственной административной практики и, с другой – политики в отношении нерусских народов («национальной политики»). Эти особенности были порождены рядом факторов, главнейшим из которых, очевидно, является этатизм. То есть национальная политика была полностью подчинена интересам государства, осуществлялась в целях обеспечения государственной безопасности – как внутренней (сохранение стабильности и порядка), так и внешней. Кроме того, сказывалось и такое объективное обстоятельство, как чрезвычайно быстрый по историческим меркам территориальный рост Российской державы. Довольно скоро стало очевидным, что для полноценного управления колоссальным евразийским пространством по какому-то одному общепринятому алгоритму у правительства не хватает ни опыта, ни средств, ни кадров. Правящей бюрократии приходилось приспосабливаться к разнообразным местным условиям, чтобы удержать под своей властью присоединенные народы и территории.

Инкорпорация народов и регионов могла растянуться на длительный срок. В составе Российской державы на протяжении всего четырехвекового периода, который здесь рассматривается, существовали территориальные подразделения с неодинаковым юридическим статусом. Например, в XIX – начале XX века наряду с губернско-уездным делением имелись казачьи войска, горные и пограничные округа, протектораты. Ранее существовали еще и «царства» на месте завоеванных татарских ханств, а также различные вассальные владения. Подобная «многослойность», очевидно, характерна вообще для имперской государственности. Причем не следует, конечно, приписывать ее гибкости и мудрости правительства – просто такая структура была порождением исторического развития, складывалась по мере пространственного разрастания России. Именно в отношении к «неканоническим» подразделениям осуществлялось движение к стиранию административно-юридических различий, а при Николае II была сформулирована задача: добиться «слияния окраин с основной территорией».

До образования СССР в Российском государстве «национальный вопрос» не имел территориально-административного воплощения – за единственным, пожалуй, исключением черты еврейской оседлости (да и она имела вторичный характер, поскольку функционировала в рамках губернско-уездной структуры). Не было и никакого федерализма, тем более по этническому признаку. Однако неверно было бы полностью отрицать учет национального состава населения при организации управления. В XVII–XIX веках в Восточной Сибири сохранялись волости, соответствовавшие расселению местных родоплеменных объединений; в начале XX века на Северном Кавказе предпринимались попытки организовать округа по такому же критерию (см.: Национальные... 1998). Эти меры преследовали, как всегда, этатистскую цель – обеспечить наибольшую мобильность управления, надежность контроля, исправность сбора податей. Характерно, что такое соответствие внутренних территориальных границ этническим ареалам (впрочем, уже тогда во многом условное) практиковалось лишь на самом нижнем уровне, в масштабах нескольких сельских общин.

На протяжении рассматриваемого периода народы (этносы) однозначно выступали в качестве не субъектов, а объектов государственной политики. И здесь опять же не следует видеть проявление какого-то подчеркнутого пренебрежения властей к «иноверцам» и «инородцам». Во-первых, абсолютное большинство существующих сегодня стабильных этических общностей в те времена еще только формировалось. Во-вторых, одним из главных принципов имперской государственности была надэтничность, предполагавшая верность престолу вне зависимости от языка и вероисповедания. Все это, однако, не означало игнорирования полиэтничности населения. Этнокультурное и этнополитическое разнообразие невозможно было не учитывать в силу исторических условий складывания многонационального государства.

С одной стороны, локальные юридические нормы включались в общий корпус государственного законодательства – как правило, в масштабе отдельных регионов (установления обычного права, шариата и др.). В этом же ряду находилось и районирование по этническому принципу, о котором упоминалось выше. С другой стороны, власть при организации управления опиралась и полагалась не на абстрактные «народы», а на местные элиты, традиционные привилегированные слои: аристократию, родоплеменную верхушку,

иногда духовенство. В отношении данной категории подданных со времен Средневековья действовала практика сохранения некоторых старых социальных привилегий и предоставления новых льгот.

Вопрос о сотрудничестве с этническими элитами был одним из краеугольных камней не просто «национальной политики», но вообще государственного управления Российского государства. Можно по-разному оценивать и определять эту практику – как социальную комплиментарность, классовую солидарность и т. д. Но мы сталкиваемся с неоспоримым фактом: русские элитные страты традиционно сотрудничали со своими иноэтничными «коллегами». Собственно, сам процесс формирования российского дворянства представлял собой постепенное интегрирование различных по происхождению людей и семей в единую аристократическую корпорацию. Алгоритм интегрирования предполагал относительную открытость, возможность для вступления в ряды дворянского сословия. Таким образом, российское дворянство оказывалось этнически открытым сословием, и на место в его рядах мог в принципе рассчитывать любой представитель нерусской элиты. Разумеется, существовали определенные критерии и ограничения, но в целом социальная и культурная русификация (прежде всего переход в православие) облегчала выходцу из местной знати рекрутирование в дворянский корпус, а следовательно, и успешную карьеру.

На общем фоне аристократии в России выделялись прибалтийские немцы. Они сразу заняли в империи высокое положение, но при этом сохранили свой язык, культуру и религию.

На протяжении первых двух столетий территориального разрастания России политика по отношению к народам на окраинах диктовалась почти исключительно необходимостью обеспечить исправные налоговые платежи и лояльность к властям. Начало радикальных перемен связано с петровскими реформами. В XVIII веке развернулось активное продвижение русских в периферийные регионы, государство стало предпринимать их административное освоение. Присоединенные народы стали входить во все более частые, тесные и близкие контакты и с представителями администрации, и с русскими в целом.

И здесь возникает принципиальная проблема: следует определить, как относились «иноверцы» и «иностранцы» к государству и власти, как они понимали свое положение в составе России, как трактовали подданство. Постановка такой исследовательской зада-

чи довольно необычна для нашей историографии. Нельзя сказать, что отношение народов к государству не рассматривалось вообще. Но ранее историки затрагивали этот вопрос, как правило, лишь по поводу социальных потрясений, борьбы с абстрактным «царизмом». И тогда получалось, что взгляды участников этой борьбы на «эксплуататорское государство» оказывались по определению негативными.

На самом деле картина была гораздо более сложной. Отношения подчинения и подданства русская сторона и ее партнеры зачастую воспринимали совершенно по-разному. В книге (Трепавлов 2007) я попытался выявить такие полярные расхождения в трактовке этого вопроса на всем российском пространстве – от украинцев на западе до коряков на востоке.

Перед этими новыми подданными встала необходимость осмыслить свое новое состояние, адаптироваться к положению подданных русского царя, определиться в отношении к России – могущественной государственной системе, частью которой им довелось стать в силу сложившихся исторических обстоятельств.

Территориальное расширение государства в XV–XVIII веках, включение в его состав новых подданных влекло за собой кардинальные перемены в жизни присоединенных народов. Они сталкивались с новыми политической системой и экономическим строем, поступали в подчинение русской администрации, обнаруживали на своих землях множество пришельцев-русских, которые обосновывались в новых городах и деревнях. Как бы историки ни оценивали ход и последствия (позитивные, негативные, прогрессивные и т. п.) вхождения каждого отдельного народа в состав державы, в любом случае это событие оказывалось стрессовым, кризисным, переломным в его судьбе. В подобных исторических ситуациях, когда люди пытаются приспособиться к переменам, в массовом сознании возникает почва для складывания различных идеологем, спасительных иллюзий как средства адаптации к новой действительности.

Одним из таких компенсаторных конструктов является идея о верховной власти как арбитре и заступнике. С некоторыми вариациями она продолжает бытовать и в наше время. Но для России эпохи позднего Средневековья восприятие власти имело заметные отличия. Дело в том, что абсолютное большинство российских народов в то время находилось на стадии пред- и раннегосударственного развития. Соответственно и трактовка такого института, как

государственная власть, нередко обладала налетом патриархальности, или, лучше сказать, традиционности. Высшая государственная власть понималась как явление, во-первых, тотальное, всеохватное, пронизывающее все сферы жизнеустройства; во-вторых, магически-сакральное, далекое и недостижимое, недоступное простым людям; в-третьих, персонифицированное – воплощенное в монархе.

В эпицентре власти основным ее носителем, естественно, оказывался царь. Именно его абстрагированный образ служил воплощением тех надежд, иллюзий и стереотипов, которые были характерны для традиционной политической культуры народов России. Представления о верховном сюзерене формировались во многом стихийно, по ходу жизни в пределах государства, но порой также пропагандировались (насаждались) властями на местах. Можно сказать, что внедрялся своего рода культ монарха. В условиях, когда волей истории в общих границах объединились носители многих языков и нескольких религий, фигура государя служила одной из немногих идеологических и политических скреп колоссальной полиэтничной державы.

Представляется бесспорным тезис о том, что люди (подданные) должны доверять власти. Часто надежда на верховных правителей оказывается последним прибежищем в разнообразных невзгодах. Это хорошо понимали правящие круги России еще в XVI веке, когда была введена практика прямого челобития – обращения к государю с прошениями и жалобами напрямую, минуя все промежуточные инстанции. Кроме непосредственной связи с народом (во многом, конечно, условной и иллюзорной) это был один из способов контроля Москвы над местной администрацией. Даже столь подробно и «любовно» описанные советскими историками социальные конфликты при учете фактора преклонения перед верховной властью обретают несколько неожиданный вид.

Как ни парадоксально, но вооруженные выступления порой принимали монархистские формы. Речь в данном случае не о самозванстве, а о восстановлении нарушенной связи между царем и народом. В 1754 году башкиры объясняли свое очередное выступление следующим образом: «Если они (русские. – *В. Т.*) оскорбляют нашу веру, насильно обращают нас в свою веру, меняют повинности, которые мы несли по обязательству с прежними падишахами, и разоряют наше достояние и имущество, давайте и мы, оскорбив их веру, призовем их в свою веру и разорим их имущество; тогда

и наши вести дойдут до падишаха, и суть наших дел будет разобрана с полнотой и со справедливостью» (цит. по: Чулошников 1940: 51–52; см. также: Алекторов 1883). Таким образом, восстание оказывалось последним средством «достучаться» до государя, побудить его обратить внимание на бедственное положение подданных.

Вообще сочетание, казалось бы, несочетаемых черт в облике монарха отражает его причудливое восприятие в народном сознании. С одной стороны, глава России грозен и жесток, но с другой – он милостив и справедлив. В реальности данный противоречивый комплекс признаков проявлялся в чаяниях на облегчение жизни при вступлении на трон нового правителя. Случалось, вызванные правительственной политикой восстания угасали, едва приходила весть о смерти государя и о коронации его преемника – очередного объекта ожиданий (см., например: История Татарской... 1968: 110; Очерки истории Марийской... 1965: 108, 109).

На протяжении примерно полутора столетий в наказах воеводам и прочим местным управленцам содержались рекомендации действовать по отношению к подвластным «иноверцам» «ласкою и приветом», «ласкою, а не жесточью» и т. п. Полагаю, не следует идеализировать по этому поводу национальную политику Алексея Михайловича и его преемников или приписывать им образцовую толерантность, уважение к этническим особенностям присоединенных народов.

Во-первых, не мог по-иному выражаться православный царь – воплощение милосердия и благолепия (подобная самооценка была характерна как раз для второго Романова). И это служило одним из средств насаждения его позитивного образа.

Во-вторых, обе стороны – власть и подданные – довольно быстро уяснили условность подобных миролюбивых формул. На окраинах процветал воеводский произвол, и нередко «лаской и приветом» служилые люди требовали смириться с несправедливыми поборами и всевозможным насилием. Однако вскоре поняли и другое: невозможно превышать административный и налоговый пресс, так как население может или перебраться в недоступную глухомань, или сменить подданство (если дело происходило на границе), или поднять вооруженный мятеж. Отсюда формула «лаской, а не жесточью» исполнялась местными управленцами не из-за терпимости и корректности, а в силу вынужденной необходимости – заботы об интересах казны.

Кроме формирования положительного образа верховного правителя России, в XVI–XIX веках наблюдается и такое интересное явление, как создание (тоже во многом стихийное) позитивного образа самого Российского государства в целом. В советской идеологии и соответственно в исторической науке целенаправленно культивировалось представление о Российской империи как поистине «проклятом прошлом» – самодержавно-крепостнической деспотии, мрачной цитадели тирании и реакции, «тюрьме народов» и т. п. Более взвешенный взгляд на историю нашей страны, утвердившийся в последние полтора десятилетия, позволяет избегать столь однозначных характеристик.

Выясняется, что царская Россия представляла собой (и представлялась многим современникам) вовсе не «темное царство», заслуженно обреченное на уничтожение. В частности, отношение к ней подданных-«иноверцев» разительно отличалось от придуманных позднее советских схем. Как ни странно, Россия в глазах ее подданных порой выглядела носителем гораздо более свободного и справедливого правления (режима), чем окрестные владения. Такое отношение можно проследить почти по всему периметру ее границ.

Удивительными для человека, воспитанного на вышеупомянутых идеологических конструкциях, выглядят массовые переселения в Россию по социальным мотивам. Даже башкиры, известные своими многократными антиправительственными выступлениями в течение этих двух столетий, первоначально расценили монархию Ивана IV как менее жесткую политическую систему по сравнению с прежним ногайским наместничеством на своих землях¹.

Еще больший контраст являла Россия по сравнению с Цинской империей. Этот контраст отразился в сведениях источников о народах Дальнего Востока и Центральной Азии. Племена Приамурья в XVII веке не желали мириться с порядками, устанавливаемыми маньчжурскими правителями: непосильными поборами и насильственными переселениями. Жители областей, прилегавших к северо-восточным пределам Маньчжурии, спасались бегством в русские владения и, получив там царское подданство, дорожили им, не желая возвращаться на родину (Мелихов 1974). Столь же негативно относились к власти цинского богдыхана переселенцы из Монго-

¹ О борьбе башкирских племен против ногайских наместников и переходе их на сторону русских см., например: Башкирские... 1960; Кузеев 1957; Трепавлов 2003.

лии в русскую Сибирь: «Наш хан провинившимся отсекает головы, а русский царь наказывает розгами. Пойдемте отсюда в подданство к русскому белому царю»². Причем такие переселенцы, соглашаясь на выплату ясака в русскую казну, надеялись, что им суждено «впредь паки быть свободным», уйдя из-под власти прежних властителей (см.: Под стягом... 1992: 17).

Но не только «всенародные» миграции отмечены в документах. Удивительным для человека, воспитанного на вышеупомянутых идеологических конструкциях, является переселение в Россию по социальным мотивам. Элита «иноверцев» стремилась обрести повышенный статус на государевой службе, щедрые пожалования и привилегии, а простонародье бежало от собственной знати – от ее налогового гнета и прочих притеснений, а также в поисках более сытой и безопасной жизни.

В середине – второй половине XVII века наблюдалось бегство зависимых калмыков в соседние русские селения и города. Там они оказывались вне досягаемости ханов, нойонов и тайшей, которые начинали забрасывать русские власти требованиями вернуть беглецов. Иногда добиться этого удавалось, но если переселенцы принимали православие, следовал категорический отказ (см.: Очерки истории Калмыцкой... 1967: 147–148). По этой причине желание принять крещение охватило такое количество калмыков, что в XVIII веке правительство стало отводить специальные участки для поселения новокрещенов (Там же: 203). Для управления ими была даже построена специальная крепость – Ставрополь-на-Волге (современный Тольятти). При этом и принимающая, и преследующая стороны понимали, что в перемене религии мировоззренческие мотивы играли подчиненную роль по сравнению с желанием достичь облегчения условий жизни.

Еще более наглядно подобная ситуация проявилась на Северном Кавказе. В XVII веке с постройкой казачьих станиц и Терского городка, а в XVIII веке – с основанием крепостей Кизляр и Моздок в них устремились представители местных народов, которые желали найти укрытие у русских. Резоны были самые разные: кровная месть соплеменников, тяжелые налоги и повинности (особенно во

² Бурятское предание, цит. по: Никитин 1987: 148. Известна более афористичная формулировка: «Белый царь сечет спину, а желтый царь – голову». Впрочем, сравнения иногда бывали и не в пользу России. Известны «непригожие речи» украинских казаков, сравнивавших московского самодержца с польским королем во второй половине XVII века.

владениях кабардинских князей), разорительные набеги абреков – горских воинов (см.: Блиева 2003; Гаджиев 1965; История Кабардино-Балкарской... 1967; Очерки истории Чечено-Ингушской... 1967).

Конструирование благожелательного отношения к Российскому государству имело и геополитический аспект. Пока территория страны расширялась, поглощая малонаселенные леса и степи, это не имело насущного значения. Но настало время, когда российские границы с одной стороны уперлись в океаны, а с другой – сомкнулись с рубежами других империй. В XVII–XVIII веках начался, а в XIX веке развернулся раздел мира между европейскими державами, в частности раздел Азии между Россией и Великобританией. В этой ситуации привлечение потенциальных новых подданных в состав России было возможно не столько за счет военных побед (русские и англичане всячески старались избегать открытых конфликтов друг с другом), сколько за счет пропаганды положительного образа империи Романовых.

Важнейшим условием для интеграции присоединенных владений в сплоченный имперский организм, стимулом к унификации его структуры, формированию единого государственного пространства послужило массовое расселение русских на «национальных окраинах». Именно в таком относительно однородном пространстве, которое осмысливается в категориях традиционной политической культуры, действует своего рода имперская сакральная топография, т. е. религиозно-мифологическое описание и понимание горного мира. Это частный случай общеисторического соотношения между центром и периферией.

Насколько мне известно, подобный структурно-антропологический ракурс историки-русисты почти не изучали (за исключением Русского Севера – см.: Теребихин 1993). В православной топографии сакральным центром являлась Москва. И это несмотря на наличие официальной столицы, построенной Петром на пустых «чухонских» болотах, а также номинального религиозного центра, Иерусалима – в те времена захолустной османской провинции. От Москвы выстраивалась концентрическая картина мира, в которой по мере удаления от «Третьего Рима» убывала и сакральность: сначала православные христиане, затем инославные христиане, затем «магометане» и, наконец, идолопоклонники (буддисты и язычники).

Иллюстрацией подобного взгляда на многоплеменное государство служит панорама Московии в исторической песне XVII века «Скопин-Шуйский»:

Кругом сильна царства Московского
Литва отлегла со все четыре стороны,
А с нею и сила – сорочина долгополая,
И те черкасы пятигорские,
Еще ли калмыки с татарами, со башкирцами,
Еще чукши с олюторами³ (Исторические песни... 1966: 48).

На эту концентрическую модель накладывались другие, сконструированные нерусским населением. Ведь многие народы имели свои духовные (религиозные) центры за пределами империи. Для мусульман сакральными центрами мира оставались аравийская область Хиджаз со священными городами, а также в определенной мере Стамбул как резиденция халифа; для российских буддистов аналогичную роль играла тибетская Лхаса.

В контактных зонах происходило взаимное наложение сакрально-топографических структур. Я попытался посмотреть, как это происходило в Поволжье. Образ матери-Волги был стержневым в картине мира у тюркского, финно-угорского и славянского населения этого региона. Образ крупнейшей реки Восточной Европы присутствует в мифологии и фольклоре всех поволжских народов. Исторические источники и фольклорные материалы показывают, что своеобразный культ Волги традиционен для местного населения (Трепавлов 1997; 2001; 2002). Этот культ фиксируется в нескольких формах и отражает различные уровни осмысления реальности, трансформации ее в сознании. Образ реки является главным компонентом сакральной топографии Поволжья.

«Земная» часть космографических воззрений включает несколько взаимосвязанных уровней: систему представлений о строении сакрального ландшафта (в данном случае поволжского) и о свойствах народов, населяющих край, а также систему реальных географических объектов, наделенных определенным сакральным смыслом. Эти уровни в совокупности и составляют религиозно-мифологический образ Волги и приволжских земель как локальный вариант (диалект) картины мира.

³ Олюторы – коряки.

Место и роль Волги в сакральной топографии финно-угров, тюрков и славян сводятся к следующим позициям. Во-первых, река является мифологическим антропоморфным персонажем, который находится в родственных отношениях с другими потоками и водоемами, вступает с ними в союзы или конфликты. Во-вторых, она выступает в качестве компонента мифологизированной картины мира, проявляя себя в текстах то как ориентир и стержень мирового пространства, то как рубеж между различными (часто враждебными друг другу) мирами. Волга составляет часть волшебного пространства, характерного для мифопоэтического отображения мира, – пространства замкнутого и ограниченного, сконцентрированного вокруг организующего центра, окруженного враждебным миром или хаосом. В-третьих, Волга в эпической истории предстает как важный элемент изначального, постхаосного мира, заселяемого предками. В этой ипостаси она со временем превращается в обозначение страны и становится в народном сознании символом Родины.

Необходимость не только пользоваться правами и льготами, но и исполнять обязанности в качестве подданных, существовать в условиях действия жесткого управленческого механизма самодержавного государства оказалась непривычным, тяжким и труднопереносимым бременем для многих «иноверцев». Тем не менее, известны лишь единичные случаи сепаратистских выступлений, если не учитывать периоды революционных кризисов.

В историографии высказывается обоснованное мнение, что в России сложилась особая цивилизационная структура («локальная цивилизация»), которой присущи определенные алгоритмы взаимной адаптации множества народов и друг к другу, и к государству в целом (подробнее см.: Российская... 2003). Здесь сказались и огромные расстояния, и открытая, демократичная русская культура, и возможность обходить суровые законы, и традиционная установка правящих кругов на сотрудничество с этническими элитами, и многое другое. Все это сплачивало полиэтническую систему, придавало ей прочность, превращало в «непоколебимый столп» (как выразился в XVIII веке казахский хан Абулхайр⁴).

⁴ «Калмыцкая орда – ветер, а Российская империя – непоколебимый столп, и от Российской империи до смерти руки своей не отымать... служить верно будем» (цит. по: История Казахской... 1957: 240).

Литература

- Алекторов, А. Е.** 1883. *История Оренбургская*. Оренбург: Б. Бреслин.
- Башкирские шежере**. 1960. Уфа: Башкирское кн. изд-во.
- Блиева, З. М.** 2003. Русско-чеченские отношения в XVII–XVIII вв. *Вопросы истории* 12: 47–61.
- Гаджиев, В. Г.** 1965. *Роль России в истории Дагестана*. М.: Наука.
- Исторические песни XVII века**. 1966. М. – Л.: Наука.
- История** Кабардино-Балкарской АССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. 1967. Т. 1. М.: Наука.
- История** Казахской ССР. 1957. Т. I. Алма-Ата: Изд-во АН Казахской ССР.
- История** Северо-Осетинской АССР. 1959. М.: Изд-во АН СССР.
- История** Татарской АССР (с древнейших времен до наших дней). 1968. Казань: Татарское кн. изд-во.
- Кузеев, Р. Г.** 1957. Башкирские шежере о присоединении Башкирии к Русскому государству. *Советская этнография* 4: 3–12.
- Мелихов, Г. В.** 1974. *Маньчжуры на Северо-Востоке (XVII в.)*. М.: Наука.
- Национальные** окраины Российской империи. Становление и развитие системы управления / отв. ред. С. Г. Агаджанов, В. В. Трепавлов. 1998. М.: Славянский диалог.
- Никитин, Н. И.** 1987. *Сибирская эпопея XVII века. Начало освоения Сибири русскими людьми*. М.: Наука.
- Очерки** истории Калмыцкой АССР. Дооктябрьский период. 1967. М.: Наука.
- Очерки** истории Марийской АССР (с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции). 1965. Йошкар-Ола: Марийское кн. изд-во.
- Очерки** истории Чечено-Ингушской АССР. 1967. Т. I. Грозный: Чечено-Ингушское кн. изд-во.
- Под стягом** России. Сб. архивных документов. 1992. М.: Русская книга.
- Российская** многонациональная цивилизация. Единство и противоречия / отв. ред. В. В. Трепавлов. 2003. М.: Наука.
- Теребихин, Н. М.** 1993. *Сакральная география Русского Севера (религиозно-мифологическое пространство северорусской культуры)*. Архангельск: Изд-во Поморского ун-та.

Трепавлов, В. В.

1997. Волга в культурной традиции народов Восточной Европы. *Этнографическое обозрение* 6: 103–108.

2001. Культ Волги у народов Восточной Европы. *Великий Волжский путь* (с. 50–55). Казань: Мастер-Лайн.

2002. Волга в сакральной топографии тюрков и славян. *Великий Волжский путь*. Ч. II (с. 137–150). Казань: Изд-во Ин-та истории АН РТ.

2003. Установление российской гегемонии на Южном Урале (вторая половина XVI – начало XVII в.). *Русские в Башкортостане. История и культура* (с. 39–48). Уфа: ГУП УПК.

2007. «Белый царь». *Образ монарха и представления о подданстве у народов России XV–XVIII вв.* М.: Вост. лит-ра.

Чулошников, А. П. 1940. *Восстание 1755 г. в Башкирии*. М. – Л.: Изд-во АН СССР.